

ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ





Российский государственный архив
литературы и искусства



*Записки
парижанина*

**дневники,
письма,
литературные опыты
1941–1944
годов**

С рисунками автора
(публикуются впервые)

Георгий
Эфрон

Издание подготовили

Е.Б. Коркина, В.К. Лосская, А.И. Попова

Издательство АСТ • РГАЛИ

Москва

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Э94

Редакционный совет РГАЛИ: Т.М. Горяева (председатель), Л.М. Бабаева,
Л.Н. Бодрова, Е.В. Бронникова, А.Л. Евстигнеева, Т.Л. Латыпова,
М.А. Рашковская, Н.А. Стрижкова, Е.Ю. Филькина

Дизайн серии Ивана Ковригина

Дизайн обложки Дмитрия Агапонова

В оформлении переплета использована фотография
Г. Эфрона (Лакано, Франция, 1937)

В оформлении книги использованы иллюстрации из фондов РГАЛИ,
Дома-музея М.И. Цветаевой в Москве, Центральной научной библиотеки
СТД РФ, а также из личного архива Л.А. Мнухина

Эфрон, Георгий Сергеевич

Э94 Записки парижанина : дневники, письма, литературные опыты 1941–
1944 годов / Георгий Эфрон; изд. подгот. Е. Коркиной, В. Лосской, А. По-
повой. — М.: Издательство АСТ, 2018. — 576 с.; ил. — (Письма и дневники)
ISBN 978-5-17-097264-7

«Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение... — всё это бу-
дет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души», — писала
совсем юная Марина Цветаева. И словно исполняя этот завет, ее сын Георгий
Эфрон писал дневники, письма, составлял антологию любимых произведений.
А еще пробовал свои силы в различных литературных жанрах: стихах, прозе, сти-
лизациях, сказке. В настоящей книге эти опыты публикуются впервые.

Дневники его являются продолжением опубликованных в издании «Неиз-
вестность будущего», которые охватывали последний год жизни Марины Цве-
таевой. Теперь юноше предстоит одинокий путь и одинокая борьба за жизнь.
Попав в эвакуацию в Ташкент, он возобновляет учебу в школе, налаживает эпи-
столярную связь с сестрой Ариадной, находящейся в лагере, завязывает новые
знакомства. Всеми силами он стремится в Москву и осенью 1943 г. добирается
до нее, поступает учиться в Литературный институт, но в середине первого курса
его призывают в армию. И об этом последнем военном отрезке короткой жизни
Георгия Эфрона мы узнаем из его писем к тетке, Е.Я. Эфрон.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-097264-7

- © Т.М. Горяева, послесловие, 2018
- © Е.Б. Коркина, составление, подготовка текста,
примечания, послесловие, 2018
- © В.К. Лосская, подготовка текста, перевод
с французского, примечания, послесловие, 2018
- © А.И. Попова, подготовка текста, вступит. статья,
примечания, 2018
- © Российский государственный архив
литературы и искусства, 2018
- © ООО «Издательство АСТ», 2018

«А здесь — я один, сам с собой, с прошлым и переживаниями...»

(Дневники, письма и литературные опыты Георгия Эфрона 1941–1944 годов)

Как и в книге «Неизвестность будущего», охватывающей 1940–1941 годы жизни Георгия Эфрона, в нынешнем издании дневниковые записи дополняются его письмами соответствующего периода. Как замечает И. Шевеленко, говоря о необходимости их совместной публикации, его письма «дают нам услышать другой голос автора, другой регистр его речи и его чувств. Эмоциональное сочувствие, человеческое тепло — все то, чему практически нет места на страницах дневников, — в полной мере проявляется именно в письмах»¹. Не зря в июне 1943 г. он пишет сестре: «...мой дневник, начатый мною 28^{го} августа 1939^{го} г., и упорно, изо дня в день, с тех пор продолжаемый, отстывает на второй план перед моими письмами к тебе, и я в него гораздо меньше вкладываю “своего”, личного, чем в эти письма».

Есть в книге и совсем новый материал — литературные опыты Г. Эфрона, его стихотворные и прозаические тексты, большинство из которых публикуются впервые. Уже в 1995 году, когда были изданы его письма, Е.Б. Коркина в предисловии констатировала: «...полагаю, что мы имеем право говорить об открытии неизвестного писателя»². Теперь все тексты этого неизвестного писателя становятся доступны. Его литературные опыты в избытке показывают читателю те эмоции, в отсутствии которых не раз упрекали молодого человека после первой публикации дневниковых записей. Можно понять, какие чувства и мечты им владели — и каких не было или он совершенно не готов был их запечатлеть. Доминанты его стихов и прозы на лицо: это мечта о великой любви и о прекрасной подруге, тоска по Парижу — городу его детства, критический, а порой — саркастический взгляд на окружающих, сомнение в главных жизненных ценностях и желание все же их утвердить.

Поэтическая записная книжка «Проба пера» вполне соответствует своему названию, но ведь многие в юности сочиняли подобные стихи, первые же стихотворные опыты, тем не менее, добавляют значимую информацию к нашим представлениям об авторе. Как и в дневнике, в стихах Г. Эфрона чередуются

¹ Шевеленко И.Д. Рецензия на книгу: «Георгий Эфрон. Дневники» // Критическая масса. 2004. № 3.

² Коркина Е.Б. Грустная сказка - скучная история // Эфрон Г.С. Письма. Издание музея М.И. Цветаевой в Болшеве. Калининград: Луч, 1995.

русская и французская речь, порождая порой макаронические русско-французские вирши. И подобно тому, как в дневнике газетные и радиошtamпы СССР конца 1930-х годов перемежаются школьным французским жаргоном, так и в стихах пропагандистские формулы военного времени уживаются бок о бок с поисками красоты, пришедшими из текстов Готье, Малларме и Рембо, колониальной экзотикой и подростковыми мечтами о любви.

Из стихов и прозы Г. Эфрона понятно, что жизненной опорой ему в сложнейшие годы служат не только книги, о которых он постоянно говорит в дневниках, но и Париж, воспоминания о нем. Не случайно «Проба пера» ему посвящена: этот город стал не просто местом действия, а, скорее, главной темой восьми из тридцати восьми стихотворений в этой тетради. Обращает на себя внимание женский род, в котором иногда пишет и думает Мур о французской столице: «Paris! Ville inoubliable, amie et tant aimée»¹ (10 мая 1941). Как в самом французском языке, который допускает для Парижа и женский род (чаще в литературе), и мужской (в разговорной речи), у него эти образы чередуются:

Париж для него — город-друг:

Я помню тебя неизменно,
Ты часто со мной говоришь, —
Мой город и друг незабвенный,
Мой старый товарищ, — Париж.
«О городе-друге»

И город-сестра:

Так не плачь же, родная сестрица,
Не тужи, закаляйся в бою!
«Столица»

Но главное, этот город для него — символ счастья, утраченного счастья из воспоминаний. Вот дневниковое рассуждение времен поездки в подмосковные Пески в июле 1941 года, проходящее на фоне детских эгоистических забот: «Боюсь, как бы имя “Валя” не стало звучать для меня подобно слову “Париж”. Воспоминания! Они подобны угрызениям совести — вот что ужасно.

¹ *Здесь приблизительно: «Париж! Незабываемая обитель, подруга и сколь сильно любимая».*

«А здесь — я один, сам с собой, с прошлым и переживаниями...»

Для меня в воспоминаниях всегда звучат угрызения, всегда упрек. Я боюсь, что Валя, живая и реальная девушка, может замениться в моем представлении застывшим образом, неопределенным воспоминанием, о котором я буду жалеть. Я ведь хорошо знаю, что каждая неудача, каждый промах, каждая смена декораций делают меня все большим эгоистом. Я боюсь будущих сожалений, боюсь меланхолии, воспоминаний. Все эти чувства мне не подходят, не вяжутся с моим возрастом и взглядами, но они есть и сильно меня мучают».

Еще одна черта сборника «Проба пера»: на его страницах, в отличие от дневников и писем Мура, мы видим, что он наделен чувством юмора. Читателю стоит обратить внимание на «Грустную сказку» — о том, как Иван-королевич и Семен-королевич спровадили папашу с мамашей на поиски жар-птицы, остановившись на французском «Меконге», хотя бы и в переводе:

Да здравствует
Вермут с ликером!
И ну его, этот Меконг.

Кроме стихов, которых, как сообщает Г. Эфрон в мае 1943 года, он с 1942-го не писал, от того периода его жизни сохранился перечень любимых цитат, которые он собрал в особую тетрадку, названную «Diverses Quintessences de l'esprit moderne. XIX — XX siècles. Anthologie de citations» (Разнообразные квинтэссенции современного духа. XIX — XX век. Антология цитат). Если полный список его чтения в 1940 — 1942 годах можно выстроить на основе дневниковых записей, то эти цитаты — его выбор, идея, за воплощение которой он берется осенью 1941 года, в поезде, везущем его в эвакуацию в Ташкент. В ноябре 1941 года он записывает: «Составляю сборник лучших стихов главных поэтов Франции XIX-го и XX-го вв. К сожалению, из источников-книг недостает: Гюго, Леконт де Лиль, Ламартин, Виньи, Рембо. Мой сборник будет состоять из избранных стихов следующих поэтов: Готье, Бодлер, Верлен, Малларме, Валери. У А. де Мюссе я нашел только одно превосходное стихотворение: "L'Andalouse", которое войдет в сборник. Уже выписал в тетрадку лучшие стихотворения Готье, Верлена. Неприятно чувство, что это — лишнее занятие, которое как-то "потонет". Все же каждый придерживается своей линии, и я — своей: любви к литературе, к поэзии». Вероятно, со временем этот замысел расширился, и в тетрадь попали не только стихи, но и прозаические отрывки, причем, кроме любимого Монтерлана, иронического Ипполита Тэна и скептика Селина, а также Хемингуэя, Андре Жида, О. Хаксли и А. Бергсона, там

обнаруживаются несколько стихотворений в прозе Тургенева, стихи Ахматовой и Гумилева и девять стихотворений и фрагментов Мандельштама — едва ли не больше, чем столь значимого для Мура Валери!¹ Эти цитаты дополняют наши представления о его литературных предпочтениях, поскольку в дневнике и письмах о Гумилеве и Мандельштаме он упоминает лишь мельком.

Примечательны и другие литературные занятия Георгия, которые он считает для себя главными. В объяснении, предпосланном творческим работам для Литературного института в 1944 году, читаем: «Прежде всего, я скорее переводчик, чем прозаик. Писать прозу для меня не так “внутренне обязательно”, как переводить». (И в рекомендации для Литинститута А.Н. Толстой просит принять его на переводческое отделение.) Далее Г. Эфрон пишет: «Из готовых работ у меня есть еще сказка и два перевода с французского языка...» Один из этих переводов, видимо, — начало романа Жоржа Сименона «Три преступления моих друзей» (гл. 1–2). Он сохранился (РГАЛИ Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 283. Л. 10–26). Примечателен выбор для перевода именно этого романа. В отличие от многочисленных детективов Сименона, это скорее автобиографическая проза: писатель рассказывает о своих настоящих друзьях, которые стали убийцами. Интерес к личности преступников, в частности, к упоминаниям о серьезных преступлениях из новостной хроники, в семье Цветаевой был не у одного Мура: процесс Эжена Вейдмана фигурирует не только в его рассказе «Из записок парижанина», но и в черновиках самой Цветаевой 1940 года — на полях перевода «Плавания» Бодлера. Есть в ее черновых тетрадах и запись, где рассказывается о внезапной смерти в парижском метро палача Дейблера, который должен был осуществить в городе Ренне казнь убийцы Мориса Пилоржа. На той же странице Цветаева записывает комментарий сына к этой новости: «Мур: А жаль, что он умер — сразу. Если бы он умер — в постели — он бы знал, что такое смерть (у Мура — часто — блестящие мысли и глубокие наблюдения, но как-то беспоследственно)»². В дневнике Г. Эфрон упоминает еще одну книгу Сименона — «Несчастливая звезда» (1938) — собрание его путевых заметок, посвященных неудачникам.

Вторым переводом могло быть эссе Поля Валери «Взгляд на современный мир»; о работе над ним Г. Эфрон упоминает в ташкентских записях конца

¹ Состав сборника «Разнообразные квинтессенции...» помещен в конце Примечаний, см. с 553-554.

² Сведения об этой февральской записи 1939 г. из черновой тетради 1939-40 гг. предоставлены Е.Б. Коркиной.

«А здесь — я один, сам с собой, с прошлым и переживаниями...»

марта 1943 года и в письмах к сестре: «С большим увлечением занимаюсь сейчас переводом Валери, его книги: “Взгляды на Современный Мир”. Перевод этот труден, потому что труден, как известно, язык Валери, но работа эта интересная и мне по душе. И вообще, я лишь теперь понял, что, вероятно, моей основной профессией будет профессия переводчика. Я это дело люблю и уважаю, оно меня будет кормить, а параллельно с этим я буду писать свое. И до поры до времени будет действовать переводчик, а потом появится Автор с большой буквы. И впоследствии будут уже писать: “приобрел известность также в качестве переводчика ряда произведений, написанных...” и т.д. и т.д. Наивные мечты, верно? А вдруг они осуществляются?! Такое сейчас времячко, что даже вот так может все повернуть, что мечта возьмет — да и осуществится, чорт бы ее подрал! Да и мечты-то у меня, на первое время, — вполне разумные. Их предел... о, их предел, увы, самый труднодостижимый, быть может, — никогда! Этот предел — спокойствие. Этот предел — уединение, возможность работать одному, чтобы никто не смел мешать и лезть со всякой белибердой. о Боже, сколько надо прочесть и перечесть, перевести, исследовать, подвергнуть критике, пересмотреть и низвергнуть, восстановить! И как все это трудно осуществимо! В сущности, оттого я и стремлюсь в Москву, что там много книг, мне необходимых» (28.3.1943). Переводы Г. Эфрона из Валери не сохранились. Сложность этой работы он не преувеличивал: на русском эссе было опубликовано лишь в 2017 году (в журнале «Звезда», №№ 3 и 7 за 2017).

Между прочим, и другие его переводческие планы много лет никому реализовать не удавалось: «...мечтаю перевести Монтерлана; и Грина на французский язык» — произведения Анри де Монтерлана изданы на русском лишь в конце XX — начале XXI веков, причем переведено далеко не все; Грина начали переводить на французский через тридцать лет после того, как Мур это написал.

В числе литературных опытов Г. Эфрона — несколько рассказов, написанных во время учебы в Литературном институте зимой 1943–1944 годов. В них тоже важнейшее место занимают воспоминания о Париже: подробное описание парка в Медоне, перечисление парижских маршрутов, любимых кафе и газет — мельчайшие детали, пронесенные через четыре года жизни в СССР, трагических, взрослых, бесприютных для бывшего парижского мальчика. Они трогают своей доскональностью и могут служить моментальным снимком эпохи. Сегодня многих из тех кафе, газет, заводов, кинотеатров и даже городских названий, которые с любовью выуживает из памяти Георгий, уже нет, к тому же литераторы не так уж часто воспроизводят атмосферу Парижа конца тридцатых годов столь подробно. И если герой его прозы таков, каким, возможно,

автор хотел бы себя видеть в будущем, — независимый парижанин, курящий, популярный у женщин, — то его любимый город сохраняет свои истинные черты.

А строки из фантазийно-абсурдистской повести Г. Эфрона «Записки сумасшедшего», к сожалению, вполне реалистически звучат в применении ко всей его жизни:

«Я тихо спросил:

— Чью судьбу вы сейчас разыгрываете?

Все три феи хором ответили:

— Вашу.

— Но кто же остался в дураках? — спросил я еще тише, предчувствуя недоброе.

И Феи Судьбы мрачно ответили мне:

— Старшая — Фея Бед».

Рассказы «В полдень (à la manière de Хемингуэй)», «Однажды осенью» и «Из записок парижанина», возможно, связаны с заданиями преподавателей Литинститута. Анатолий Мошковский, учившийся вместе с Г. Эфроном, вспоминает, что Корнелий Зелинский, критик и литературовед, сыгравший трагическую роль в судьбе последнего сборника стихов, подготовленного Цветаевой, давал студентам задания на стилистическую имитацию. «В первом семестре нам читал что-то вроде курса “Введение в творчество” бывший теоретик конструктивизма Корнелий Люцианович Зелинский — пожилой, носатый, лохотный, одетый с иголочки, при модном галстуке, пришедший к нам на курс с нелестной кличкой, данной ему старшекурсниками: Карьерий Лицемерович Вазелинский. Отставив от стола стул и вытянув ноги в рисунчатых, невиданных в то время носках и в тщательно отглаженных брюках, он самоуверенно, с апломбом и даже как-то театрально, по-актерски, раззявляя нам, как несмышленьшам, что писателю необходимо быть эрудированным, собранным, упорно овладевать техникой письма, учиться нетривиально думать. <...> Он давал нам домашние задания. Как-то велел написать шесть-семь страниц в подражание Бальзаку, потом — Чехову. Затем задал описать какой-нибудь парк или сквер»¹.

Фрагмент рассказа «Однажды осенью», начинающийся с описания парка в Медоне, вполне мог быть сдан в качестве такого задания. Этот же рассказ упоминает Г. Эфрон в письме к Л.А. Озерову в апреле 1944 года из Алабина, где он проходил подготовку перед отправкой на фронт и где, как можно догадаться

¹ Мошковский А. Георгий, сын Цветаевой // Октябрь. 1999. № 3. С. 130–135.

«А здесь — я один, сам с собой, с прошлым и переживаниями...»

из писем к родным, жизнь его была почти невыносимой: «Меня очень тронуло, что Вы мне написали; я совсем не избалован письмами; и я помню еще, как Вы мне сказали после прочтения мною “Однажды осенью”: “надо верить”; это было правильно сказано и сразу же обнаружило мне Вашу чуткость» (См. с. 407). И действительно, главный вопрос, который ставится в этом рассказе, предмет диалога его героев, вопрос, который остается открытым, — именно в том, есть ли у жизни хоть какой-то смысл...

Прозаические наброски Г. Эфрона, как и его стихи, неприкрыто автобиографичны. Временами голос повествователя в них очень напоминает фрагменты из его писем. Так в рассказе, озаглавленном «Из записок парижанина» он, сетуя на недостаточность своей дружбы с Полем Лефором, говорит: «Дружба представляется мне истинной лишь тогда, когда каждый из партнеров готов для другого жертвовать очень многим, очень многим поступиться. А ни я, ни Поль не способны на такое самопожертвование. Да и к чему оно? Это не в духе Парижа. Глубина чувств, пожалуй, удел провинции».

А вот цитата из письма к сестре, написанного примерно полугодом раньше: «...я жертвовать, никого не можешь активно любить, никому не можешь активно помогать» (3. 04. 43).

совсем один; не для кого ничем жертвовать, никого не можешь активно любить, никому не можешь активно помогать» (3. 04. 43).

С А.С. Эфрон он обсуждает и писательскую стезю: каким нужно быть человеком, как относиться к миру: «...ты пишешь, что писателю, плюс к уму, необходимы страстность и “спонтанность”. Это — неверно. Что, по-твоему, страстны А. Жид, Валери, Монтерлан, Хаксли, С. Льюис, Ж. Ромэн? “Спонтанны” они? А Флобер, наконец? — А ведь все это — большие писатели. Жизненный опыт, — да, пожалуй, он необходим; но ни страстность, ни “спонтанность” (sic!) не являются необходимыми качествами писателя. <...> ты пишешь: “Писатель в первую очередь пишет, пишет, т.к. не может не писать. А потом читает, сравнивает, анализирует”. Почему не допускать у писателя большей доли “сознательного отношения” к труду, почему представлять себе писателя, обязательно облаченного в тогу вдохновения и страдающего непреходящей болезнью графоманов: чернильно-словесным недержанием?» (15. 04. 1943)

Обнаруживаются в письмах и приправленные сарказмом надежды на будущий интерес литературоведов: «Торопливо семенит какой-то совсем маленький чеховский интеллигентик в пенснэ; он судорожно сжимает в руке “Вестник Древней истории” и уж конечно интересуется он только древними дрязгами и ест как попало и что попало <...> в голове у него все те обыкновенные люди,

Алина Попова

которых отдаленность от нашей современности возвела в ранг Очень Интересных и Загадочных. Так и нас когда-нибудь будут изучать с охами и ахами» (3. 04.1943). Постараемся обойтись без «ахов», но все же, существенно, что мы можем теперь услышать все регистры его голоса.

Трудно не обратить внимания на тревожный отзыв Марины Цветаевой о сыне из письма к Н. Гайдукевич: «Физическая энергия — и головная. (Силен и умен.) А — душа?? Где? Когда?» (14.08.1935). Судя по дневниковым записям, она не скрывала своего мнения и от него самого: «Мать часто говорит, что я совершенно бездушен, что у меня нет сердца и т.п.» (20.01.1941); «Вчера спорил с матерью; она говорит, что одинок я потому, что это зависит от самого моего характера (насмешливость, холодность и т.п.). Как она меня не знает!» (28.05.1941)

Нынешняя книга дает читателю возможность попытаться самому понять человека, в которого Цветаева столько вложила и который был для нее так важен.

Алина Попова



дневники

**31 августа 1941 –
25 августа 1943**

Подготовка текста Е.Б. Коркиной и В.К. Лосской
Перевод с французского В.К. Лосской

Дневник № 10

(продолжение)

31/VIII-41–5/IX-41

За эти 5 дней произошли события, потрясшие и перевернувшие всю мою жизнь. 31^{го} августа мать покончила с собой — повесилась. Узнал я это, приходя с работы на аэродроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося ее «освободить». И кончила с собой. Оставила 3 письма: мне, Асееву и эвакуированным. Содержание письма ко мне: «Мурлыга! Прости меня. Но дальше было бы хуже. *Я тяжело-больна*, это — уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты, и объясни, что *попала в тупик*». Письмо к Асееву: «Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — *просто взять его в сыновья* — и чтобы он *учился*. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — *заслуживает*. А меня — простите. *Не вынесла*. МЦ. Не оставляйте его *никогда*. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете — увезите с собой. Не бросайте!» Письмо к эвакуированным: «Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к Н.Н. Асееву. Пароходы — страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему с багажом — сложить и довести. В Чистополе надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. *Со мной он пропадет*. Адр. Асеева на конверте. Не похороните живой! *Хорошенько проверьте*». Вечером пришел милиционер и доктор, забрали эти письма и отвезли тело. На следующий день я пошел в милицию (к вечеру) и с большим трудом забрал письма, кроме одного (к эвакуированным), с которого мне дали копию. Милиция не хотела мне отдавать письма, кроме тех, копий. «Причина самоубийства должна оставаться у нас». Но я все-таки настоял на своем. В тот же день был в больнице, взял свидетельство о смерти, разрешение на похороны (в загсе). М.И. была в полном здравии к моменту самоубийства. Через